

Андрей Фадин

НЕФОРМАЛЫ И ВЛАСТЬ

(размышление о судьбах гражданского общества в СССР)*

В самом конце 1987 г. английские тележурналисты из „Темз телевижн“, делая в Москве фильм о перестройке, брали интервью у нескольких активистов неформальных групп. В столице только что отгремело „дело Ельцина“, в котором неформалы приняли деятельное участие (письма с требованием опубликовать материалы октябрьского пленума ЦК, сбор подписей под петициями „в защиту Ельцина“ на улицах, приведший, естественно, к конфликтам с милицией, и пр.). Отголоски этого первого выхода неформалов „в люди“ еще были свежи — и потому вопросы англичан выглядели естественными: что означает весь этот эпизод в контексте перестройки, каковы будут его последствия, что впереди? Ответы были дельные, уверенные, убедительные, не без некоторого, даже интеллектуалистского, изящества (дескать, „знай наших“).

Но вот телевизионщики задали совершенно простой, естественный вопрос: что изменилось в жизни простого „человека улицы“ за время перестройки?

Несмотря на добросовестное желание найти такие перемены, неформалы вынуждены были признать, что ни на рабочем месте, ни в очереди за колбасой, ни в автобусе в часы пик существенных перемен не произошло, а кое в чем стало и хуже.

И все же ощущение каких-то неясных еще, но необратимо начавшихся перемен (пусть еще робких, недостаточных, медлен-

* Статья печатается (с небольшими сокращениями) без ведома автора. — Ред.

ных), растворено сегодня в самом воздухе времени, в воздухе которым дышит и полумифический „человек улицы“, и вполне осязаемый столичный сиоб-интеллектуал, и совсем уж конкретный шашлычник-кооператор, раньше всех сообразивший, как повернуться в этой перестройке. И дышится этим воздухом как-то легко, незаметно, быть может, потому, что впервые за жизнь нескольких поколений нас отпустил СТРАХ.

Тот самый страх, вошедший вместе с насилием в самую ткань общественных отношений, ставший тривиальной, как насморк, чертой нашей повседневности и мощнейшим регулятором социального поведения. Его, конечно, еще очень много в подкорке, этого *генетического* страха, проценты с которого позволяли командно-карательному монстру держать в узде колоссальную страну в течение нескольких десятилетий. Но он уже зримо стал отступать, съезживаться, терять свою всепроникающую силу.

То, что ребята из нескольких московских клубов говорили английским журналистам, как и то (а это важнее), что они *говорили* — само по себе было признаком этих мощных сдвигов в общественном сознании. (Хозяйка квартиры, где происходило интервью, мать одного из неформалов, еще ребенком пережившая в 1938 г. арест своего бесследно затем сгинувшего отца, страшно переживала: „А можно ли это делать?“ По ее представлениям на такой „контакт с иностранцами“ нужно было что-то разрешение.)

Но еще важнее, что появился новый социальный субъект, который осознал себя независимым от властных структур государства, осмелившийся не только думать, но и говорить и действовать, не спрашивая на то ничего разрешения. Причем не в традиционной российской системе координат „власть — антивласть (оппозиция)“, в которой жили и классические диссиденты 70-х, и те, кто их преследовал, а совершенно в новом измерении, как свободная самоорганизация свободных индивидов, т. е. выстраивая свою позицию не в логике протеста против чего-то, а в логике позитивного самовыражения, независимого движения к независимо выбранным целям.

Их уже очень немало: по некоторым оценкам в стране более 30 тысяч различных по целям и предмету деятельности,

философии и идеологии, формам деятельности и самоуправления неформальных групп. „Экологисты” и „оздоровители”, „эко-культурники” и „фольки”, „мирники” и эсперантисты, правозащитные и правопорядковые объединения, целый спектр политико-идеологических групп (от национально-почвенных — до демо-либеральных), adeptы самых разнообразных религиозно-философских учений, эстетических и этических систем (последователи Рериха и толстовцы, кришнаиты, дзен-буддисты, йоги), все оттенки субкультурных поколенческих и локальных групп (хиппи и панки, брейкеры и рокеры, „металлисты”, люберы и пр.) — их невозможно исчерпать перечислением многообразного богатства общественной жизни вне официальных структур. Столь же невозможно и описать их все в одном тексте.

Однако же возникают вопросы: „откуда что взялось”, где было все это многообразие раньше? Как к нему относиться? Что с ним будет дальше?

Подобный анализ тем более необходим, что новые явления социальной жизни являют обществу подчас столь отвратительный и угрожающий самим основам социальности лик, что вызывают мощную „отбойную” волю консервативно-охранительной реакции.

„Наци”, качки, „группировки”, десятки разновидностей панкующих и хипующих стай демонстрируют время от времени то дикие взрывы немотивированного насилия, то спазмы тотального социального нигилизма, отвергающего не только существующие формы общественной организации, но и любые культурные нормы, элементарную историческую мораль и сами биосоциальные основы жизни.

Десятки убитых и искалеченных в войне „группировок” в Казани, столкновения „люберов” и „металлистов” в Москве, „Коммуна свободной жизни” в лесу под Ригой, в которой несовершеннолетние девочки устраивают состязания в количестве „пропущенных” через себя партнеров. „Неформальности” сами по себе становятся фактором, тяжело травмирующим массовое сознание. Но при этом они еще встраиваются в угнетающую панораму социальных бед. Забресживший на горизонте кровавый кошмар межнациональных столкновений, зловещая тень мно-

жества новых сумгаитов... Массовые драки и культ насилия в армии, общий рост преступности и особенно новых ее видов, обнажившаяся глубина коррупционной гнилости госаппарата, внезапное знание о масштабах и жестокости отечественных мафий... И все это на фоне следующих одна за другой трагических катастроф (Чернобыль, „Адмирал Нахимов”, железные дороги), явной деградации экологической среды, растущей общей жестокости жизни...

Эти и подобные им составляющие социально-психологического климата в стране порождают явление принципиально нового характера. Назовем его условно — СТРАХ-2, или страх общества не перед тотальной и беспощадной властью, а *перед самим собой*. СТРАХ-2 — это и страх индивида перед неконтролируемыми и пугающими своими последствиями процессами в недрах социума, и страх общества перед своими детьми, перед призраком развала социального порядка, это ужас традиции, не узнающей себя в зеркале враждебной современности, это растерянность полной потери ориентации в обстановке, когда все пришло в движение и нет никакой надежной опоры... Нет ничего прочного — кроме традиционалистской идеологии „почвы”, старого как мир мифа об оставшемся в прошлом „золотом веке”, когда мир был устойчив, понятен, предсказуем:

Было время — и цены снижали,
И текли куда надо каналы,
И туда, куда надо — впадали.

Так услышал и сформулировал суть самого мироощущения ретрационализма человек, ставший великим чувствителем советской жизни, — Владимир Высоцкий.

СТРАХ-2, порожденный широким диапазоном стихийных и непонятных социальных процессов, несомненно является одной из основ поднимающейся воли массового консерватизма, сопротивления не только идущей „сверху” модернизации, но и растущей „снизу” плюрализации социальной жизни. Корни его глубоки, они уходят в самую глубь российского исторического опыта — с его жестокими обвалами идущих сверху крутых преобразований, не считающихся ни с какой человеческой ценой, если речь идет о достижении державного величия. Каждая реформа таит в себе угрозу ухудшения тяжелого, но привычно-

го уклада жизни, прогресс ассоциируется прежде всего с его непомерной ценой, с бедами и лишениями...

В этом историческом опыте — сила низового народного консерватизма. Но в нем же и опасность для любой последовательной политики модернизации. При дурном обороте событий именно он станет основой „идеологии реставрации”.

Конечно, „лочный” традиционализм далеко не однозначен, порой его яростная борьба с социальными язвами играет на оздоровление общественной атмосферы больше, чем любые демо-либеральные и прогрессистские проповеди. Можно сказать, что в отношении иных групп, инициатив, движений, он играет роль своего рода „сторожа” общественного мнения. Более того, оформившись как социально-групповой субъект, традиционализм вступает в отношения полемики с другими субъектами и сам способствует той самой плюрализации, которую критикует.

В то же время, обыденное сознание неаналитично по самой своей природе и, как правило, не проводит различий между различными (иногда даже и противоположными) проявлениями одного и того же (в его восприятии) социокультурного процесса. Негативные стереотипы восприятия неформального мира, сформированные шокирующими выбросами ассоциальности в молодежной среде, страхом перед начавшимся инаком миром национальных отношений, опасениями за судьбы социального порядка, автоматически переносятся на любую внеофициальную социальную самодеятельность. Этот неуловимый перенос восприятия осуществляется как бы по принципу „амальгамы”: любая неформальная активность воспринимается как часть процесса плюрализации, „разбегания ценностей”, как угроза мифической органичности традиционного мироустройства. СТРАХ-2 начинает работать против складывания нового социального порядка, блокирует формирование структур гражданского общества.

В этих условиях разблокирование ситуации противостояния консервативного традиционализма прорастающим снизу элементам гражданского общества в СССР требует хотя бы приблизительного теоретического осмысления такого явления как „неформалы”.

Попробуем разобраться в историческом и социальном смысле этого поразительного и все еще непривычного для нас явления, „встроить” его в контекст меняющейся нашей жизни, посмотреть на него извне, так сказать в мировой перспективе, и изнутри, глазами самих участников.

* *
*

В том или другом виде „неформалы” существовали всегда (хотя сам термин вошел в наш оборот совсем недавно, в 1970-е годы). В строго социологическом смысле „неформальная группа” — это группа людей, которых связывают личные, не закрепленные организационно и не оформленные юридически связи. С этой точки зрения, три мушкетера или вагага Дубровского из знаменитой пушкинской повести — типичные неформальные объединения. Так же как бесчисленные „дворовые команды”, возрастные и локальные сообщества, группы, объединяемые интересами и занятиями. Подобные группы были, есть и будут в любом обществе.

Однако рассуждения такого рода, допустимые из западного далека, лишь частично отражают советскую ситуацию последних четырех-пяти десятилетий.

Конечно, и у нас подобные сообщества существовали и, более того, имели совершенно особый, ни с чем не сравнимый социально-психологический смысл. Ибо в России с ее традиционным культом государственной власти лишь в узком, соразмерном личности кругу „своих по духу” только и можно было убежать от давящей тяжести государственной мощи, стремившейся в крутые эпохи (а их не одна была в нашей истории) растворить в себе индивида. Лишь такой круг позволял выжить человеку в условиях, когда государственная машина стремилась к тотальному контролю над ним, над всеми сферами его жизни, включая порой даже интимные отношения с родными, близкими, с Богом, с самим собой, наконец).

Вспомним казанский круг собеседников профессора Штрума в гроссмановской эпопее. Без него, без миллионов подобных кружков — чем была бы жизнь человека в жестокое

то время? А что такое круг общения А. Герцена, описанный им в „Былое и Думы”, что такое сообщество славянофилов в те морозные николаевские годы? Ведь это — самые натуральные неформалы: формальной организации у них нет, для государства они существуют лишь как объект полицейской слежки, но отнюдь не как общественный субъект.

На другом уровне локальные и субкультурные группы, моделируя определенные ситуации и отношения, позволяют вынести пустоту существования, тот „нестерпимый холод жизни”, который гениально угадал Пушкин и который сегодня стократ сильнее давит на декультурированную индустриально-провинциальным идиотизмом, лишенную традиционных патриархально-общинных устоев, но отнюдь еще не „социализированную до дна” этим идиотизмом юную личность где-нибудь в Казани или Алапаевске...

Это страшная, пугающая беспросветностью своей проблема, источник жестоких коллизий в молодежной среде — тем не менее не есть специфически наша, исключительно советская проблема. Где-нибудь на периферии Лос-Анджелеса, в предместьях Детройта, Ливерпуля или Сан-Паулу „холод жизни” с такой же непреложностью сбивает в группы подростков, выталкивает их на улицу или в подвалы, пускает по кругу бутылку или сигарету с „травкой”, заставляет пугать прохожих мотоциклетным ревом, хвататься за велосипедную цепь или кусок арматуры при виде чужаков. Это есть, и это, видимо, пребудет, ибо за каждый свой шаг по дороге истории человечество платит судьбами своих детей.

Пустившись по этой дороге, отбросив для скорости дававшие стабильность и устойчивость традиционные культурные нормы и институты, человечество зашаталось, не имея запасной точки опоры. Теперь для устойчивости, как велосипедисту, ослепается уповать лишь на все большую и большую скорость...

Но у нас есть и наш (специфический для того государственного социализма, который был в недавние годы стыдливо назван „реальным”) аспект „неформальности”, ибо те, кого мы называем неформалами, в большинстве случаев не были бы таковыми ни в одной из цивилизованных стран. Это звучит странно, но это так. Дело в том, что огромное количество „не-

формальных объединений являются таковыми поневоле. В действительности, многие из них совершенно осознанно стремятся к четкому юридическому (а значит — *формальному*) статусу как общественной организации — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Лишь ригидность нашей политической системы, сформированной на развалинах НЭПа в „славные тридцатые”, герметичность ее организационной структуры, оставляющей за рамками нормальной публичной жизни тысячи групп *самодетельной общественной инициативы* (понятие, отражающее саму суть анализируемого явления), превращает в неформалов потенциально закономерные элементы общественно-политической системы. По внутренней логике развития общественных инициатив, „коммунарское движение”, например, развивавшееся в молодежно-комсомольской среде в 1960—1970-е годы, никак не должно было быть неформальным, поскольку стремилось к официальному признанию себя государством (стало быть — формализации). Неформальным его сделала именно позиция партийно-комсомольского аппарата, с болезненной подозрительностью воспринимавшего все, что росло из жизни, снизу, и не принимало прямого манипулирования этого аппарата. То же можно сказать и о многочисленных природоохранных и эко-культурных инициативах, сообществах альтернативной педагогики и медицины, политических и иных клубах, количество которых лавинообразно увеличивается с середины 1980-х годов.

Мы, современники, почти не осознаем того, чему являемся свидетелями. На самом деле, на наших глазах происходит процесс колоссального культурно-исторического значения — возрождение экспроприированного в 1930-х годах Административной Системой *гражданского общества*.

Правда, было ли оно у нас? Можно ли говорить именно о возрождении? В какой-то мере да, можно. Вспомним: ведь такое же колоссальное богатство социальной самодеятельности страна знала и в 20-е годы. Только в РСФСР, без Москвы и Ленинграда, на 1 января 1928 г. было зарегистрировано почти четыре с половиной тысячи добровольных обществ и союзов с без малого полутора миллионами членов! Эти объединения являлись

выразителями самых разнообразных культурных и духовных потребностей всех основных социальных групп.

Четко работал механизм легализации инициатив. Закон 1922 г. освободил административный надзор за общественными организациями к регистрации и утверждению уставов, т. е. был установлен нормативно-явочный порядок регистрации, при котором лишь несоответствие устава законам могло быть основанием для отказа в регистрации.

Однако стремительное и тотальное огосударствление общественной жизни после сталинского сокрушения изпа оборвало этот взлет социально-культурной самодеятельности. В 1932 г. принимается новый закон (формально действующий и поныне), ставший основой фактического роспуска всех подлинно самодеятельных организаций и замены их фиктивно-общественными централизованными институтами, в действительности бывшими лишь „колесиками и винтиками” государственного аппарата. Волны репрессий одна за другой смывали пласты культурного слоя, накопленного страной, уходили в небытие краеведы, члены и организаторы творческих, просветительских, художественных, спортивно-физкультурных союзов, национально-культурных ассоциаций, вообще все те, кто не вписывался в жесткий, бесструктурный монолит казарменного идеала общественного устройства. В так устроенном обществе не могли выжить хоть сколь-либо независимые группы и личности: ни „Обзриуты”, ни „Соколы”, ни общество „Старый Петербург”.

Многообразная культурная жизнь общества как живого и суверенного организма, внутри которого протекают разнонаправленные и непредсказуемые процессы, была на десятилетия сведена к одному единственному варианту. Культурная политика государства стремилась заместить собой культурную жизнь общества, а все, что не поддавалось такому замещению, подвергалось „критике оружием”.

Конечно, культурная жизнь не замерла, но она стала носить характер либо запланированного продукта государственной политики, либо культурного сопротивления ей. Была утеряна спонтанность, независимость культуротворческих процессов, их плодотворная гетерогенность. Реальные процессы взаимодействия и борьбы творческих программ и эстетических систем были

сведены к централизованному управлению различными „дехами искусства” и к регламентации потребления произведенных ими продуктов в духе идеологической утопии „всеобщего управления”, уподобляющей общество и культуру — фабрике.

Столь крутой вираж истории невозможно объяснить, конечно, лишь гениальным злодейством кучки политических авантюристов, маньякальной жестокостью „отца народов” или пороками идеологии как таковой.

Гиперцентрализм Административной Системы (и в политике, и в производстве, и в культуре) — определенным образом соответствовал задачам и самой атмосфере так называемого „догоняющего развития”, точнее — жесточайшему ее варианту — „развитию любой ценой”. Смысл такого развития: предельная мобилизация всех ресурсов страны и концентрация их на нескольких приоритетных направлениях — при практической консервации, а чаще — деградации всего остального массива общественной жизни. Все, что не соответствует задаче „догнать и перегнать”, что не работает на идеологию державного величия — не нужно, подлежит уничтожению.

Социальная самодеятельность народа при таком варианте развития не просто избыточна, она враждебна — и уничтожается вместе со своими носителями. Точно так же уничтожаются целые социальные группы, те или иные категории населения, которые не вписываются в жесткую схему пирамиды власти: субъект управления — государство в лице госаппарата; объект — общество в лице населения (а не народа!). Любая социальная группа, хотя бы потенциально могущая стать независимым от государства субъектом, должна быть уничтожена. Таким образом „устраняются” не только Обзриуты или „Соколы”, но и сама возможность их появления.

Колоссальная цена („издержки”!) такого типа развития требует идеологической сакрализации самих его целей: так появляется утопический социальный проект абсолютно однородного общества, полностью самоотожествившегося с государством, и потому — абсолютно управляемого, функционирующего как часовой механизм, не знающего внутренних драм, конфликтов, столкновений, интересов и групп.

Именно этот социальный идеал и стал главным идеологи-

ческим обоснованием „массового усреднения”, насильственного выравнивания общественного и культурного рельефа. Все утопии стоят друг друга, однако, как заметил философ, „дух утопии обретает плоть, лишь будучи оплодотворенным духом опричины”. Поэтому неудивительно, что именно данный утопический проект общественного устройства был использован для запуска чудовищной технологии власти, обращающей общество в гигантский псевдоиндустриальный муравейник. Государство экспроприрует общество и обращает его в свой главный жизненный ресурс, в свой чериозем, гумус. В этот гумус ушли десятки миллионов Человеков, чьи жизни стали фундаментом муравейника. Сложилась, увы, не новая для России ситуация, о которой Ключевский сказал: „государство пухнет, а народ хиреет”.

Однако достигнутый столь насильственным образом монолитизм культурно-идеологической панорамы не мог продержаться долго, сам объективный ход истории разрушал искусственную однородность.

„Барьер индустриализации” был взят, нижние ветки „догоняющего развития” — пройдены. Сам рост масштабов и сложности производства, усугубленный начавшейся научно-технической революцией, неотвратно влек за собой усложнение социально-групповой структуры советского общества. „Гонка за лидером” (т. е. за Западом) делала безнадежными попытки законсервировать общественные отношения, нивелировать образ мысли и стиль жизни различных социальных групп. Это и понятно: новые производственные задачи требовали не только новой техники и новых форм организации, но и *нового производителя* с совершенно новыми запросами, культурой, самой структурой личности. И новый производитель и новые задачи требовали иной оргструктуры, иной философии управления. История таким образом еще раз доказала свою склонность к мрачной (ибо не забудем об „издержках”) иронии. Модернизировать производство, сохраняя средневековую организацию общества и растворив личность во властных отношениях, оказалось невозможно.

Противостояние с Западом, которое было идеологической опорой сталинской „антиутопии у власти”, сыграло злую штуку

с ее творцами: стремясь воспроизвести технологию и уровень производства „там”, они медленно, но верно готовили почву для окончательного крушения социокультурного монолитизма.

Стремительное усложнение социально-экономической структуры общества в 1950—1960-е годы повлекло за собой неизбежную дифференциацию не только *интересов* социальных групп, но и их культурных потребностей, появление различных субкультурных и инициативных групп. В этом же направлении действовал и „демонстрационный эффект” иных обществ с их искусительным многообразием и убийственно высоким уровнем потребления (в том числе — и культурных продуктов). Этот эффект „демонстрации-имитации”, хорошо изученный „социологией развития”,* фильтровался в наш принудительно изолированный железным занавесом культурный порядок через „опережающие группы” (также социологический термин) — население столичных и портовых городов, через не контролируемые государством каналы информации.

Последнее нуждается в пояснении: с конца 50-х годов распространение коротковолновых приемников, а затем бытовых магнитофонов привело фактически к потере государством монополии на информацию вообще, и на демонстрацию образцов культуры в частности.

Магнитофон не мог не породить „магнитиздат”, а без последнего не появились бы и такие массовые культурные феномены как движение самодельной песни или рок-культура. С той же непреложностью пишущая машинка, например, не могла не породить новой волны давней российской традиции неофициальной литературы, „самиздат” как одну из форм культурной самодельности.

*„Эрика берет четыре копии
Вот и все. И этого достаточно.*

*.....
Есть магнитофон системы „Яуза”
Вот и все. И этого достаточно”.*

* „Социология развития” — междисциплинарное научное направление, изучающее закономерности социальной динамики в процессе социально-экономического развития, в особенности на материале развивающихся стран.

отметил новизну и необратимость этой ситуации великий бард удушливых десятилетий Александр Галич. Таким образом процесс внутреннего усложнения культурной панорамы общества, ее *плюрализация*, был запущен самим ходом развития. Пробудившаяся социальная активность первых поколений урожденных горожан, которым уже не нужно было бороться за физическое выживание на грани нищеты и голода, требовала соответствующих каналов самовыражения, прежде всего в сфере свободного времени.

Между тем, начная с первых „стиляг” 1950-х годов, разнообразные культурные феномены (рок, диско, „дикий” туризм и самостоятельная песня, брейк, аэробика и т. д.) один за другим зарождались, развивались, достигали пика распространения за пределами сферы официальной культуры. Лишь меньшая часть из них находила себе в ней подобие экономической пищи, но обычно — лишь на излете своей популярности, на ниспадающей ветви развития.

Официальная „учрежденческая” культура оказалась совершенно неподготовленной к сколь-либо конструктивному диалогу с новыми социокультурными субъектами. Это и понятно, ведь она *для другого* создавалась. В недрах Административной Системы „учрежденческая культура” выполняла функции, конечно же, не канала самовыражения для тех или иных социальных групп, а почти исключительно — „трансляционной сети” для передачи на Место образцов культуры, создаваемых в Центре. Таким образом, все сводилось к пресловутой „просветительной функции”. Обратной связи не было, она была просто не нужна. Никакой иной „культуры”, кроме вырабатываемой на государственных „фабриках культуры”, и не могло, не должно было быть, поскольку она просто подлежала уничтожению.

В новых же условиях, когда социокультурные инициативы в массовом масштабе порождались самим ходом общественной эволюции, и их уже невозможно было прямо подавлять, сфера „официальной культуры” оказалась в ситуации „монопольста без монополии”, ее шестеренки начали прокручиваться вхолостую, она все больше обслуживала саму себя.

Тому есть несколько объяснений. Сердцевина „официальной культуры” — культпросвет с середины—конца 1960-х годов реально утерял роль лидера досуга. По технической оснащенности клуб все более уступает квартире, по уровню предлагаемых образцов — ТВ, по увлекательности — кино, а ничего специфически клубного, собственно самой атмосферы *клубности* современное культпросветучреждение (КПУ) предложить не может. „Общенческая” составляющая казенного клуба сводится на нет в его модели уже на стадии архитектурного проектирования (через набор помещений и оборудования), а затем всячески искореняется существующими управленческими отношениями, закреплёнными в нормативных документах, системе отчетности, критериях оценки работы, присвоения категорий и др.). Культпросвет, как и прочие подотрасли сферы культуры (исключенно, быть может, отчасти составляет кино) совершенно не зависит от тех, кому, вроде бы, обязан служить. Публика никак не влияет ни на набор образцов, занятий, жанров, „живущих” в КПУ, ни на их качество. Оценка идет лишь сверху, по ведомственным отчетным показателям. Самодеятельное, самоорганизующее, самоуправленческое начало сведено в наших „фабриках культуры” к „нулю”, отторгается самой их природой.

И понятны поэтому причины, по которым пробудившаяся социальная активность, побившись лбом в эту стену, некоторое время обтекает эти в прямом и переносном смысле бастионы недвижимости, пробивает себе свое собственное *неформальное* русло.

* *
*

Очевидно, что проблема эта не только и не столько проблема сферы культуры. Корень ее — в том культе государственной власти, ее аппарата и ее производных, который все еще доминирует и в нашем сознании, и в нашей политической организации.

Не будем сейчас искать истоки этого культа власти — они глубоко во тьме российской истории. Важно зафиксировать, что государство, порожденное обществом для выполнения оп-

ределенных в общем-то ограниченных целей, фактически подмяло его под себя, встало *над* этим обществом. Сегодня, когда просыпающееся общество ищет себе адекватные каналы самоорганизации, оно сталкивается с тем, что вне официальных государственных структур никакая деятельность не обеспечена правовой защитой.

Хотя статья 51 Конституции СССР декларирует право граждан на создание общественных организаций, сколь-либо эффективных законов, упорядочивающих кто, как и с какими целями может пользоваться этим правом — не существует, а юридические процедуры легализации (т. е. законного признания) инициатив не разработаны.

Существующая практика регистрации самодеятельных инициатив до сего дня основывается либо на сталинском законе 1932 г., либо на Положении о любительских объединениях, нормативном акте 1984 г., согласованном 12 ведомствами и не имеющем силы закона. Путь легализации инициативы в соответствии с этими документами столь мучителен, неопределен, открыт для ведомственного произвола, что подавляющее большинство групп предпочитает оставаться „вне закона”, т. е. в прямом и точном смысле слова „неформалами”.

Причины подобного состояния дел вполне прозрачны: отсутствие строгой юридической процедуры открывает полный простор для *разрешительного* права, когда для официального признания в каждом случае требуется специальное *разрешение* (либо в форме поручительства организации-учредителя, либо прямо через решение местных властей). Другими словами, „пушать” или „не пушать” — определяют сами местные власти по своему усмотрению. Понятно при этом, что если разрешение на официальную регистрацию, например, выступающей против строительства дамб в Финском заливе группы „Дельта” зависит от ленинградских властей, выступающих за дамбу, то эта группа никогда не получит легального статуса и будет обречена на существование в полутьме вне легальности.

„Разрешительное право” противоречит основополагающему постулату современного цивилизованного правосознания: *разрешено все, что не запрещено законом*. Согласно этому постулату именно *закон*, а отнюдь не усмотрение тех или иных

властей, определяет пределы допустимого разнообразия норм и отклонений от них в обществе. Правда, подобное отношение к закону характерно лишь для правового государства, которое мы лишь проектируем. Сегодня же у нас отношение управленческого аппарата к закону весьма специфическое: „сами принимаем, сами изменяем, сами решаем, следовать ему или нет”.

Конечно, решение „по усмотрению начальства” весьма удобно: можно игнорировать любую „неудобную” инициативу, не отвечать на ее обращения, не предоставлять ей помещения, разгонять „незаконные сборища” и „перекрывать кислород” тысячами других способов. Но эту группу нельзя ни распустить, ни запретить — именно потому, что, не будучи легализована, она *не существует* с точки зрения правовых норм. Единственная форма эффективной борьбы с ней в таком случае — прямые репрессии.

Однако политический курс нынешнего руководства основан, согласно партийным документам, на решительном отказе от применения силы в общественной жизни, на решении конфликтов исключительно *политическими* методами. Это означает, что, удерживая группы гражданских инициатив *вне* официальной политической структуры, государство лишает себя возможности и воздействовать на эти группы, на процессы, в них происходящие.

В самом деле, трудно ожидать, что та или иная группа (например, природоохранная или эко-культурная) распадется, если ее выгонят из ДК, „просигнализируют” начальству по месту работы ее участников и т. п. Наоборот, подобные меры, как показывают многолетние наблюдения, приводят лишь к росту сплоченности в группе, радикализируют ее, усиливают социально-критические, оппозиционистские мотивы в ее деятельности (в ущерб настроением конструктивного сотрудничества, поисков взаимоприемлемых компромиссов).

Именно в пережатости практически всех легальных каналов самовыражения, представительства специфических групповых и социальных интересов (культурных, религиозных, экологических и пр.) и лежит главный мотор стремительной полити-

зации неформального мира. Любая попытка сформулировать и защитить свои групповые интересы традиционно воспринимается властными структурами как покушение на аппаратную монополию власти. Самая частая программа, самое конкретное и частное требование вызывает обвинения „в политической деятельности“, за которым в неглубоком подтексте — подозрение в антисоветизме. Так было и с ленинградскими эко-культурными группами, выступавшими против решения городских властей о сносе гостиницы „Англетер“ (место самоубийства С. Есенина), и с Движением в защиту Байкала в Иркутске, и с общественным советом „За чистый воздух и воду“ в Уфе... Количество печальных примеров подобного рода — неисчерпаемо, ибо список увеличивается с каждым днем.

Избирательная кампания по выборам народных депутатов 1989 г. расширила его поистине до всесоюзных масштабов: достаточно почитать только центральную прессу, чтобы увидеть, как душит низовая инициатива на местах, как отказывают инициативным группам в проведении собраний избирателей, не дают помещений, а уличные митинги разгоняют, опираясь на печально знаменитый закон о правилах проведения массовых мероприятий; как все-таки проведенные митинги объявляют неправомочными, выдвинутые же на них кандидатуры — не регистрируют... Центр не может защитить всех, а „правила игры“ таковы, что слишком многое, почти все — в воле именно местных властей. Впрочем, избирательный закон — лишь частный случай отношений суверенной народной ИНИЦИАТИВЫ и властных СТРУКТУР, отношений неравных, несправедливых, разрушительных для нашего общего будущего.

Апелляция к закону почти ничего не дает, ибо местные суды, как правило, манипулируемы местными властями. Последнее слово всегда остается за партийной властью, т. е. решение принимается не легальное, а политическое. В отсутствие правовых механизмов защиты и путей реализации инициативы неформалам ничего не остается как также обратиться к механизмам политическим. Митинги, демонстрации, „живые блокады“, петиционные кампании — сегодня это живая общественная практика страны. В ней набирается опыт, выковываются, быть может,

первые за три-четыре поколения кадры „самодельных политиков“.

Изменяется само отношение к политике как сфере человеческой деятельности, она *реабилитируется* в глазах общественного мнения. И если раньше большинство групп подчеркивало свой внеполитический характер, то теперь, наоборот, даже сугубо культурнические и экологические объединения говорят о своих политических задачах. В политике начинают видеть все больше не жестокое отчуждение общественной воли, не бездушную технологию принуждения, а возможность взаимосогласования разнонаправленных интересов, при помощи которого человек овладевает своей собственной социальной средой. В российских условиях, когда ни индивид, ни первичная социальная общность традиционно не была суверенным хозяином ни над одним элементом среды, пространства и быта, значение такого сдвига в политическом сознании невозможно переоценить.

Самоорганизуются инвалиды, начинают отстаивать свои права — это политика, самоорганизуются любители местной старины — это тем более политика. Вспомним, что эстонское общество охраны памятников было одним из источников и предтеч Народного фронта, а его попытки привести в порядок кладбище, на котором покоились павшие в советско-эстонской войне 1918 г., были восприняты властями как антигосударственный шаг! На этом маленьком примере видно, что в стране, где политикой является *все*, а власть проникает во все клетки не только общественной, но и личной жизни, *любое* общественное действие или движение *неминуемо* превращается в политическое.

Опасаясь политизации „самодельщиков“, управленцы, вряд ли осознавая это, сами *усиливают* ее буквально каждым своим шагом. Пришедшие на смену тотальному запретительству попытки отобрать „хороших“ неформалов, „приручить“ их (а то и просто организовать своих, „карманных“ неформалов по принципу ведомственной принадлежности) оказались совершенно неэффективными.

С одной стороны, если „прирученные неформалы“ теряют независимость, то они автоматически теряют и всякую привлекательность для публики. С другой стороны, даже созданные в недрах административного механизма с пропагандистской

целью объединения начинают этой независимости добиваться, ибо без нее в условиях конкуренции с другими группами — не выжить. Да и невозможно заменить никакими льготами и „подогревами” саму мотивационную основу самостоятельной активности — личностную ориентацию на самовыражение.

Естественным образом возникает вопрос о причинах подобной огнестрельной реакции аппаратной толщи на нарождающиеся снизу элементы гражданского общества. „Генетическая” версия, выводящая эту реакцию из исторических условий формирования советской бюрократии, представляется убедительной, но мало говорит о ее сегодняшнем социально-психологическом и организационном смысле.

Вопреки первому впечатлению, этот смысл далеко не однозначен. Конечно, для наиболее закорузлых слоев партийной, советской, комсомольской, профсоюзной бюрократии, не умеющих и не желающих учиться управлять по-новому, неформальный мир враждебен и опасен. В частности и потому, что впервые ставит вопрос о пределах *компетенции* и политической *компетентности* бюрократии. Воспитанные в культуре приказа и запрета кадры старой формации органически не в состоянии выдержать сколь-либо серьезной публичной политической борьбы, полемики, открытой дискуссии. Ни в Армении или Карабахе, ни в Москве „на пушке” (Гайд-парк на Пушкинской площади), ни в Ярославле, Куйбышеве, Южно-Сахалинске или Ленинграде — *нигде* бюрократия не смогла сколь-либо эффективно апеллировать к массам. Ее ораторы проваливались, ее программы отвергались.

Это не могло не вызвать спазм *комплекса политической неполноценности* аппарата, которые прорвались новой вспышкой запретомании, попытками решить важные политические проблемы методами аппаратной интриги и полицейского контроля. Эффективность этих методов в условиях вето, инаколоженного нынешним политическим руководством страны на открытые политические репрессии, очень низка.

Пути компенсации этой политической недостаточности неожиданно наметились в сфере идеологии — через сферу действия нового феномена общественного сознания, который мы обозначили как СТРАХ-2. Психолого-идеологический фон „но-

вого консерватизма” дал аппаратчикам-иммобилистам уникальный шанс установить негласный и неявный союз с широким и представительным национально-почвенным течением в общественной жизни.

Интервьюирование аппаратчиков среднего уровня в одном из крупнейших городов России дало поразительные результаты: была четко сформулирована установка на борьбу против всех независимых общественных движений, кроме тех, что основаны на национальной идее.

Будучи не в силах противопоставить сколь-либо глобальной альтернативы перспективе раскрепощения общества, консервативная часть аппарата пугает верховную власть угрозой потери контроля над ситуацией.

„Я не вижу в неформалах носителей плюрализма, — заявляет один из подобных идеологов на страницах академического журнала. — Неформалы — это альтернатива власти. Ее основа — это мелкобуржуазность в образе жизни и в мировоззрении, воспроизводящаяся в нашем обществе последние 20 лет. Это — идейно-философская эклектика. Лидеры неформалов — агрессивные посредственности, потерявшие возможность утверждать себя на путях конституционного действия. Поэтому им свойственен экстремизм. Сегодня, даже если они говорят, что их движение — это мирная альтернатива, на самом деле — это борьба за власть. Я знаю одну динамику власти: добровольно ее не отдавал и не отдает ни один правящий институт”.*

Что это — реальный страх или попытка запугать других? А может быть, и то, и другое?

В любом случае, перед нами яркий образчик традиционалистского *репрессивного мышления*, специфическая проекция СТРАХА-2 на властные структуры.

Так СТРАХ-2 сплотил почвенный традиционализм в обществе и аппаратную „почву” бюрократии. Не следует, конечно, преувеличивать силу и сплоченность этого союза, но неслучайно и то, что именно *определенные* писатели встречаются постоянно с *определенными* партийными руководителями.

* „Социологические исследования”, 1988, № 5, с. 13.

И все же новые правила игры требовали нового инструментария, в частности, правового.

Стремление создать новую правовую основу для регулирования социальной самодеятельности, не поступившись при этом ни каплей своей привычной монополии власти, породило созданный келейно, втайне от общественности проект закона об общественных организациях, в котором регистрация по-прежнему оставлялась „на усмотрение” местного начальства, а организации-учредители могли в любой момент распустить непослушные объединения.

Правда, времена уже изменились, и, получив „по своим каналам” один из вариантов этого законопроекта, несколько московских клубов организовали зимой 1987—1988 г. публичное его обсуждение, а затем начали широкую кампанию протеста против безгласной подготовки важнейшего политического решения. Параллельно неформалы подготовили свой, альтернативный проект закона, заложив в него целую систему гарантий независимости инициативных групп от капризов начальственной воли. Им удалось заблокировать принятие антидемократического варианта закона, что, несомненно, было доказательством растущего влияния общественности на характер принимаемых решений.

Не следует, конечно, заблуждаться относительно масштабов этого влияния. Лето и осень 1988 г. показали, что сама *технология* принятия решений по-прежнему остается у нас аппаратной, внепубличной, а самая распространенная реакция аппарата на спонтанную социальную активность — „схватиться за кобур”. Печальный конец московского Гайд-парка на Тверском бульваре, митинги и демонстрации, запрещенные в десятках городов страны местными властями в соответствии с негласно, без какого бы то ни было обсуждения принятыми указами — все это, увы, говорит о том, что мы сделали лишь один, самый первый шаг к гражданскому обществу и совершенно не гарантированы от драмы попятного хода.

И все же итоги фактически первого выхода неформалов на свет публичности можно считать успехом. Продемонстрировав завидную настойчивость, они навязали свою „легальность”

той части аппарата, которая не желает модернизироваться и учиться управлять по-новому.

В то же время нужно понимать, что успехи подобного рода, как бы ни льстили они самолюбию „самодеятельных политиков”, значат весьма немного, если не происходит *цивилизация сознания* самих управленцев. А она, в свою очередь, становится возможна лишь там, где инициатива, с одной стороны, и власть — с другой, преодолевают традиционный российский стереотип *противостояния*, конфронтации. Настоящая работа по намыванию культурного слоя гражданского общества начинается лишь тогда, когда обе стороны перестают „деретягивать канат”, одни — в сторону тотального запретительства, другие — в сторону безответственного обличительства, деструктивной критики безо всякого учета реальности.

Что говорить, традиционный раскол на общество и государство, общественность и аппарат, интеллигенцию и бюрократию накопил на обоих полюсах значительный потенциал недоверия и враждебности. В этом неформалы, конечно, плоть от плоти породившего их общества: нетерпимость и отсутствие навыков диалога с властями (даже когда нечаянная возможность его появляется), презумпция виновности в отношении любого шага аппарата, почти повсеместное отношение к политике как к сфере свободного выбора решений в соответствии с темн или иными идеалами и, соответственно, полное непонимание внутренней логики реальной политики как искусства *возможного* в данной ситуации.

Все эти черты, родовые пятна длительного полуподпольного существования, воспроизводятся и в отношениях между группами, клубами, направлениями. Собственно, ведь и о движении неформалов говорить сегодня нельзя, ибо то, что существует, скорее можно назвать „неформальным миром”. Периодически вспыхивающие конфликты между группами, борьба за помещения, за популярность, за выход к прессе, взаимная подозрительность и ревность — все это характерные черты этого мира, как, впрочем, и мира формальных организаций...

Между тем, главная проблема создания гражданского общества — становление множества параллельных, независимых друг от друга и от государства организационных структур —

остаётся нерешённой. Самоорганизующиеся группы граждан все ещё не признаются субъектами правовых и политических отношений, а стало быть беззащитны перед госаппаратом. Эту проблему неформалы, как легко понять, ощущают на себе острее, чем кто-либо другой. Как решить её? Как заставить прислушиваться к себе?

Конечно, первый ответ очевиден: надо стать сильными. Сила — в единстве и солидарности, стало быть — надо стать *единицами!*

Ещё год-полтора назад неформалам казалось, что достаточно им объединиться — и они уж если не горы свернут, то, по крайней мере, „клячу истории” сильно поторопят. Об этом много говорилось на их первой информационной встрече-диалоге „Общественные инициативы в перестройке”. Именно сознание значимости происходящего и общности задач заставило тогда по разным причинам далеко не симпатизировавшие друг другу группы выдвинуть одним из принципов отношений — *безусловную антибюрократическую солидарность*. Так, из этого корня родились проекты Федерации Социалистических общественных клубов (ФСОК) и более широкой Ассоциации Кольцо общественных инициатив (АКОИ).

ФСОК действительно была образована, но так и не стала сколь-либо устойчивой и действующей структурой, а АКОИ осталась лишь витающей в воздухе, но нереализованной идеей.

Прошел год. События нашей политической жизни обогнали не только процесс самоорганизации инициативных групп, но и — самое главное — готовность всех общественных институтов и структур (и формальных, и неформальных) принять в себя волну низовой политической активности. Клубная форма оказалась тесна для неё как таковая, никакие союзы и федерации клубов уже не вместили бы её в себя.

С другой стороны, и сами неформалы на собственной шкуре убедились, что без масс любые их призывы и обращения к власти преждержащей бюрократии (и в ведомствах, и на местах) останутся гласом вопиющего в пустыне. Стать субъектом общественной жизни оказалось возможно лишь вместе с массой. Так родилась идея Народного фронта в защиту перестройки.

Впервые действительно массовое движение под таким

названием появилось и добилось официального признания в Эстонии. Но эстонское движение носит характер национального возрождения, его массовость означает не что иное как осознание эстонцами остроты своих национальных проблем.

Другое дело, когда массовое движение возникает в гораздо более сложной, противоречивой, неоднозначной ситуации российской провинции со множеством локальных специфических интересов, требований, настроений. Здесь трудно представить столь монолитное единство, какое демонстрируют сегодня армяне или эстонцы. Однако острота экологических, продовольственных, правозащитных и иных социальных проблем здесь отнюдь не меньше. Именно поэтому инициативные группы НФ, едва возникнув, смогли организовать в Ярославле, Горьком, Минске, Кишиневе, Южно-Сахалинске митинги по нескольку тысяч человек, а в Куйбышеве, где общественность резко выступила против местного партийного руководства, митинги собирали по нескольку десятков (по оценке участников — до 100) тысяч человек.

Кое-где, в частности, на Сахалине и в Куйбышеве, эти выступления заставили первых руководителей, вызвавших яростную критику граждан, уйти в отставку. Зато в других местах местные власти начали „давить” саму возможность независимого политического действия с помощью запретов (точнее — „отказов в разрешении” на митинги), порой под самыми экзотическими предлогами. К большому сожалению, Указ Президиума Верховного Совета СССР № 505 дал им в руки соответствующий инструмент.

Давление местных властей на низовых активистов перестройки, не защищенных ни громкими именами, ни столичной прессой, совершенно беззащитных фактически перед бюрократическим произволом провинциальных „городничих”, вызвало вполне предсказуемую реакцию: „возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке”.

Группы практически всех ориентаций, независимо от идеологических различий и отношений между собой оказались заинтересованы в существовании общей в масштабах страны легальной и политической „крыши”. В худшем случае, годился и просто столичный прецедент, поскольку сам гипер-

централизм российской политической культуры давал основания активистам на местах требовать того же, что „разрешено в Москве”.

В этих условиях появление нового общественного образования, которое могло бы политически легитимизировать непризнанные гражданские инициативы, было фактически делом предпрешенным.

Региональные инициативные группы Народного фронта под разными названиями появились в десятках городов страны — от Бреста до Сахалина.

В Москве, в свою очередь, возник „оргкомитет НФ”, который, целиком воспроизводя „феномен столичности” нашей политической культуры, пустился „координировать” и „централизовать” неформалов — сначала в городе, а затем по стране.

Сама история оргкомитета — прекрасная модель для отслеживания норм политической культуры в неформальном мире. С самого начала встала — и не была разрешена — проблема делегирования комитету полномочий от групп, не была разработана процедура принятия решений, не было ясности и в отношении идеологических границ НФ (т. е. какие группы могут, а какие — не могут входить в него). Слабое владение демократическими процедурами, а порой и отказ принять их „неслужебную” самостоятельную ценность резко обострили конфликт между „централистами” — сторонниками сильного, сплоченного, иерархизированного и управляемого движения — и их противниками (в основном из среды наиболее сильных и устойчивых клубов).

Интересно отметить, что „централисты” в своей борьбе в Москве опирались как на наименее политизированные группы, так и на только что возникшие мельчайшие „фантомные группы”, вся задача которых состояла зачастую в получении равного с большими клубами голоса. Когда с помощью этих групп „централистам” удалось обеспечить большинство в оргкомитете, пять наиболее авторитетных и устойчивых клубов покинули его.

Однако полемика и борьба двух тенденций в общественном движении на этом не закончилась.

В августе 1988 г. представители региональных групп НФ собрались в Ленинграде для того, чтобы попытаться, наконец, объединиться во всесоюзном масштабе. Это, как всегда, оказалось непросто.

Привычная, классическая уже борьба между сторонниками сильного центра, жесткой и эффективной структуры — с одной стороны, и принципиальными сторонниками децентрализации общественной жизни — с другой, привела к тому, что они и на этот раз не смогли договориться об организационных формах объединения. В то же время сами по себе принятые резолюции и налаженные контакты, договоренности об обмене информацией и о координации деятельности говорят за то, что в той или иной форме массовое движение за перестройку начало складываться. У него свое, пусть непростое, но несомненно большое будущее. Когда это будущее состоится, о движении гражданских инициатив будут писать, быть может, как о равноправном элементе политической системы, вне связи с явлением „неформальности”. Но это будет уже совсем другой сюжет.